

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!

Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Евгений Баратынский

На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа — восставшие бежали по телам товарищей — это пытали время, был «большой застенок» (так говорили в эпоху Петра).

Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга.

Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь.

Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского механизма, писал о нем: «империя каталогов», и добавлял: «блестящих».

Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это «совестью» и «воспоминанием».

6 И были пустоты.

За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких, отцов, что кровь века переместилась.

Дети были моложе отцов всего на два, на три года. Руками рабов и завоеванных пленных, суетясь, дорожась (но не прыгая), они завинтили пустой Бенкендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В тридцатых годах запахло Америкой, ост-индским дымом.

Дуло два ветра: на восток и на запад, и оба несли с собою: соль и смерть отцам и деньги — детям.

Чем была политика для отцов?

«Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдем на *Медведя*», — так говорил декабрист Лунин.

Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком; тростью он дразнил медведя — он был легок.

Бунт и женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть, от бунта и женщин.

Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигла внезапно, как любовь, как дождь.

«Он схватил за руку испуганного доктора и просил настоятельно помощи, громко требуя и крича на него: «Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!»

Так умирал Ермолов, законсервированный Николаем в банку полководец двадцатых годов.

И врач, сдавленный его рукой, упал в обморок.

Они узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов, люди двадцатых, — у них был такой «масонский знак», взгляд такой и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская.

Кругом они слышали другие слова, они всеми силами бились над таким словом, как «камер-юнкер» или «аренда», и тоже их не понимали. Они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарем своих детей и младших братьев. Легко умирать за «девчонок» или за «тайное общество», за «камер-юнкера» лечь тяжелее.

Людам двадцатых годов досталась тяжелая 7
смерть, потому что век умер раньше их.

У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы.

Что дружба? Что любовь?

Дружбу они обронули где-то в предыдущем десятилетии, и от нее осталась только привычка писать письма да ходатайствовать за виноватых друзей — кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин.

Над женщинами в двадцатых годах шутили и вовсе не делали тайн из любви. Иногда только дрались или умирали с таким видом, как будто говорили: «Завтра побывать у Истоминой». Был такой термин у эпохи: «сердца раны». Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчету.

В тридцатых годах поэты стали писать глупым красавицам. У женщин появились пышные подвязки. Разврат с девчонками двадцатых годов оказался добросовестным и ребяческим, тайные общества показали «сотней прапорщиков».

Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками!

Как страшна была жизнь *превращаемых*, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!

Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут.

Время бродило.

Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения.

Было в двадцатых годах винное брожение — Пушкин. Грибоедов был уксусным брожением.

А там — с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары.

Запах самых тонких духов закрепляется на разложении, на отбросе (амбра — отброс морского животного), и самый тонкий запах ближе всего к вони.

8 Вот — уже в наши дни поэты забыли даже о духах
и продают самые отбросы за благоухание.

В этот день я отодвинул рукой запах духов и отбросов.
Старый азиатский уксус лежит в моих венах, и кровь про-
бирается медленно, как бы сквозь пустоты разоренных
империй.

Человек небольшого роста, желтый и чопорный, зани-
мает мое воображение.

Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна.

Он протянул руку за очками, к столику.

Он не думает, не говорит.

Еще ничего не решено.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шаруль бело из кана ла сadyк¹.

Грибоедов. Письмо к Булгарину

1

Еще ничего не было решено.

Он вытянулся на руках, подался корпусом вперед; от этого нос и губы у него вытянулись гусем.

Странное дело! На юношеской постели, как бы помимо его воли, вернулись разные привычки. Именно по утрам он так потягивался, прислушивался к отчему дому: встала ли маменька? язвит ли уже папеньку? По ошибке влетела догадка: не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить его, ворошить на постели, звать с собою по гостям.

Чего он хлопотал с этой своей палкой?

И он воровато прикрыл ресницы, слегка шмыгнул носом под одеяло.

Конечно, тотчас же опомнился.

Протянул желтую руку к столику, пристроил на нос очки.

Он спал прекрасно: ему хорошо спалось только на новом месте. Отчий дом оказался сегодня новым местом, он превосходно провел ночь, как на покойном постоялом

¹ Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Стих арабского поэта иль-Мутанаббия (915–965). Источник указан академиком И. Ю. Крачковским.

10 дворе, зато поутру как бы угорел от тайного запаха, которым недаром полны отчие дома.

Алексей Федорович Грибоедов, дядя с палкой, умер пять лет назад. Его и зарыли здесь, на Москве.

Войти он, стало быть, не мог.

Скончался в свое время и папенька.

Но все же раздавались отчие звуки.

Часы перекликались из комнаты в комнату, как петухи, через деревянные стены. У татапа в будуаре маятник всегда ходил как бешеный.

Затем шваркающий звук, и кто-то плевал.

Значение звука он долго не мог определить.

Потом затаенный смех (несомненно, женский), шварканье приостановлено и наконец с новой силой вновь началось. Кто-то вполголоса зашикал из дверей, трюхнул жидкий, дрянненький колокольчик — это, безо всякого сомнения, из маменькина будуара. И стало понятно значение шварканья и плеванья, а также смеха: Александр чистил его сапоги, плевал и толкал под бок маменькину девку.

Александр вообще проявлял в доме за этот последний приезд необыкновенную наглость: он налетел, как персидский разбойник, на господский дом, взял его приступом, он говорил: «мы», брови у него разлетались, ноздри раздувались, белесые глаза стали глупыми. Он был даже величествен.

Так, он вздумал, что «Александр Сергеевич не могут, чтобы ему чистить платье в людской», ночевал наверху — и вот теперь тискал девушку.

Все же Александр Сергеевич улыбнулся, потому что любил Александра. Александр напоминал лягушку.

Маменька опять трюхнула колокольцем, оберегала его покой от Сашки, а сама ведь тем будила его, несносно.

Тогда, как бы из озорства, из желания передразнить ненавистный маменькин звук, он протянул руку и тоже трюхнул в колокольчик. Звук получился столь же мерзкий, как и у маменьки, но более громкий. И трюхнул еще раз.

Вошел крадучись, извиваясь змеем, шаркая туфлями, Александр. Походка его напоминала походку дервиша в «Страстях Алиевых». На вытянутых руках он нес платье, как жертву божеству, кок его уже был смазан квасом и за-

вит. Удивительно глупая улыбка явилась перед Грибоедовым. Он с удовольствием смотрел, как складывал Александр тонкое черное платье на табурет и обрядовым жестом сложил вровень обе штрипки от брюк. 11

Так они и молчали обыкновенно, любясь друг другом.

— Подай кофе.

— Каву-с? Мигом, — шеголяя персидским словом, Сашка составил в ряд длинные острые носы штиблет.

(«Тоже, кафечи. Нашел, дурак, перед кем хвастать».)

— Карету от извозчика заказал?

— Ждет-с.

Александр, кланяясь носом на каждом шагу, пошел вон.

Как затравленный унылый зверь, Грибоедов смотрел на свое черное платье.

У самого борта сюртука он заметил пылинку, снял ее и покраснел. Он не хотел думать о том, что вскоре здесь засияет алмазная звезда, и между тем даже со всею живостью представлял ее как раз на том месте, где стер пыль.

Кофе.

Быстро он оделся, с отчаянностью решился, прошел к маменькину будуару и стукнул как деревянным пальцем в деревянную дверь.

— Entrez?¹

Изумление было фальшиво, повышение было взято в вопросе на терцию выше, чем следовало бы, голос тапан был сладостным dolce² в его нынешний приезд, медовым dolce.

Склонив покорные длинные ресницы, он прошел сразу же через много запахов: пахли патки с одеколоною, серные частицы, можжевеловые порошки.

Маменька сидела со взбитыми на висках жидкими патками, не седыми, а бесцветными.

Она в лорнет, прищурясь, смотрела на Александра. Взгляд был слегка плотояден. Чин статского советника был обещан Александру.

¹ Войдите (*фр.*).

² Нежно (*ит.*, муз. термин).

12 — Как вы спали, мой сын? Ваш Сашка второе утро всех будит.

Второе утро он хотел удрать из дому.

На этот раз он решился, и, по-видимому, предстояло объясниться. Удирал он в Петербург, собственно даже не удирал — он вез Туркменчайский мир в Петербург и мог только проездом остановиться дня на два в Москве, но маменька надулась вчера, когда Александр сказал, что утром едет, — он мог бы еще задержаться на день в Москве. Он и задержался. Она смотрела на сына в этот раз по-особому.

Настасья Федоровна прожилась.

Была ли она мотовкой? Она была жадна. Все же деньги плыли сквозь пальцы, сыпались песком — и опять начинали трещать углы, обсыпаться дом; в самом воздухе стояло разорение; все вещи были налицо, но дом пустел.

Настасья Федоровна была умна, хозяйка, мать — куда девались деньги? Самый воздух грибоедовского дома как бы ел их. Уже мужики были высосаны до последней крайности. Пять лет назад они подняли бунт, восстание, и их умиряли оружием. Все же, несмотря на победу, губернатор заезжал, пил чай и предупреждал, что желательно не иметь боле восстаний.

Александр прекрасно понимал значение голоса и лорнета. Медовое legato¹ было приглашением поговорить. Александр заговорил. С некоторым презрением он слышал в своей речи излишек выразительности, он как бы заражался ее речью.

Все это, разумеется, должно было кончиться скандалом и сорваться; и мать и сын, зная это, оттягивали.

Мать не знала, чего хочет сын. Он мог остаться на Москве, мог служить в Петербурге, а то и получить назначение в ту же Персию. Перед ним, разумеется, нынче все открыто: таким дипломатом он показал себя. Мать списалась уже с Паскевичем, женатым на племяннице, у которого служил Александр; Паскевич, чувствительный к тому, чтоб его окружали обязанные родственники, выдвигал Александра. Он посоветовал Настасье Федоровне брать Персию.

¹ Связно, плавно (*ит.*, муз. термин).

Так решали за его спиной как за маленького; хуже всего, что он знал об этом. Мать догадывалась: как только она заговорит о Персии, Александр станет перечить, между тем он, может быть, и сам хочет Персию.

Персия была выгодна в первую голову деньгами, и чином, и начальством Паскевича; в Москве, тем паче в Петербурге, дело другое и служба другая. Ни Персия, ни Петербург не были ясны для Настасьи Федоровны — это были места, куда годами проваливался Александр; как бы уехал на службу и не возвращался не четыре часа, а четыре года. Собственно, она не говорила даже: «Александр в Персии» или «на Кавказе», но: «Саша в миссии». Миссия — была учреждение, и так было покойнее, устойчивее. Она понимала только Москву и все же не хотела, чтобы Саша оставался в Москве.

— Ты сегодня дома обедаешь?

— Нет, татан, я приглашен.

Он не был приглашен, но не мог себя принудить обедать дома. Обеды были, признаться, дурные.

Настасья Федоровна шаловливо посмотрела в лорнет.

— Опять кулисы и опять актрисы?

Его мать, говорящая о его женщинах, была оскорбительна.

— У меня дела, матушка. Вы всё меня двадцатилетним считаете.

— В Петербург, вижу, не так уж торопишься.

— Напротив, завтра же утром и выезжаю.

Она любовалась им в лорнет.

— Где же твой Лев и твое Солнце?

Александр осторожно усмехнулся.

— Лев и Солнце, маменька, уже давно покоятся у ростовщика в Тифлисе. У меня был долг. Сослуживцу задолжать избави боже.

Она отвела лорнет.

— Уже?

Заложенный орден давал ей превосходство. Разговор был неминуем.

— Сборы твои не слишком скоры?

Она суетливо взбила патку на левом виске.

14 — Нет. Я, собственно, не имею права долее одного дня медлить. Я и так задержался. Дело не шуточное.

— Я не об этих сборах говорю, я говорю о том, что ты собираешься делать.

Он пожал плечами, взглянул себе под ноги:

— Я, право, не подумал еще.

И поднял на нее совсем чужое, не Сашино лицо: немолодое, с облезшими по вискам волосами и пронзительным взглядом.

— Это зависит от одного проекта...

Она забилась испуганно прозрачными завитушками на лбу и снизила совершенно голос, как сообщник:

— Какого проекта, мой сын?

— ...о котором, мамап, рано говорить...

Казалось бы, победил. А вот и нет, начиналась патетика, которая была горше всего.

— Alexandre, я вас умоляю, — она сложила ладони, — подумайте о том, что мы на краю... — Глаза ее стали красноваты, и голос задрожал, она не закончила.

Потом она обмахнула платочком красные глаза и высморкалась.

— И Jean, — сказала она совершенно спокойно о Паскевиче, — мне писал: в Персию. В Персию, да и только.

Последние слова она произнесла убежденно.

— Впрочем, я не знаю: может быть, ты, Саша, рассудил даже заняться здесь журналами?

Очень мирно, но, боже, что за legato!

И Jean, и Персия, и все решительная дичь: не хочет он в Персию, и не поедет он в Персию.

— Я сказал Ивану Федоровичу, что прошу представить меня только к денежному награждению. Я все предвидел, маменька.

Опять посмотрел на нее дипломатом, статским советником, восточным царьком.

— Я же, собственно, расположен к кабинетной жизни. А, Впрочем, увижу...

Встал он совершенно независимо:

— Я пойду. Домой я сегодня буду поздно.

Перед самым порогом спасения Настасья Федоровна остановила его, прищурясь:

— Ты возьмешь каретку?

15

Он был готов ехать решительно на всем: на дрожках гитарой, на щеголеватом купеческом калибре, но только не в семейственной каретке.

— За мною прислал карету Степан Никитич, — он солгал.

— А.

И он спасся к парадным сеням, через первую гостиную — светло-бирюзовую и вторую гостиную — голубую, любимые цвета Настасьи Федоровны. В простенках были зеркала, а также подстольники с бронзой и очень тонким, вследствие сего вечно пыльным, фарфором; но и простым глазом было видно, что люстры бумажные, под бронзу. Чахлую мебель покрывали чехлы, которые здесь были со дня, как помнил себя Александр. В диванной он помедлил. Его остановил трельяж, оббитый плюшем по обе стороны дивана, и две горки à la помпадур.

Глупей и новей нельзя было ничего и представить, новые приобретения разорявшейся Настасьи Федоровны.

И карсель на одном столе, чистой бронзы.

Он постоял в углу у двери, перед столбом, который вился жгутом, столбом красного дерева, который загибался кверху крючком и этим крючком держал висящий фонарь с расписными стеклами.

Все было неудавшаяся Азия, разорение и обман.

Не хватало, чтобы стены и потолок были оклеены разноцветными зеркальными кусочками, как в Персии. Так было бы пестрее.

Это был его дом, его Heim¹, его детство. И как он все это любил.

Он устремился в сени, накинул плащ, выбежал из дому, упал в карету.

2

Озираясь с некоторым любопытством, он получил впечатление, что движение совершается кругообразно и без цели.

¹ Домашний очаг (нем.).

16 Одни и те же русские мужики шли по мостовой —
взад и вперед.

Щеголь пронесся на дрожках от Новинской площади, и сряду такой же в противоположную сторону. Впрочем, он понял, в чем здесь дело: оба щеголя были в эриванках.

Не успели еще взять Эривани, как московские патриоты выражали уже свою суетность, напялив на головы эти круглые эриванки.

Нет, для Москвы, любезного отечества, не стоило драться на Закавказье, делать Кавказ кладбищем и гостиницей.

Пересек Тверскую, поехал по Садовой. Подозрительно грязны и узки были переулки, вливавшиеся в главные улицы. Карета свернула. Точно в Тебризе, где рядом с главной улицей грязь перевозданная, а мальчишки ищут друг у друга вшей. Торчали колокольни. Они походили на минареты.

Он поймал себя на азиатских сравнениях, это была лень ума.

Все эти безостановочные дни, что он в какой-то лихорадке стяжания торговался с персами из-за каждого клокка земли в договоре, что он мчался сюда с этим договором, имевшим уже свою кличку: Туркменчайский, — чтобы везти его сразу же, без промедления, в Петербург, — он двигался по всем направлениям, расточал любезность, ловкость, он хитрил, скрывал, был умен и даже не задумывался над этим всем, так уж шло.

Нынче же, под самым Петербургом, он осел; Москва его наспех проглотила и как бы забыла. Он начинал за эти два дня бояться, томиться, что не довезет мира до Петербурга, — боязнь детская и неосновательная.

Стоял печальный месяц март. Снег московский, внезапное солнце, а то и тень, скука — в два дня — дома, на улицах еще скучнее — не давали сосредоточиться. Все это было вроде арабесков, как он их созерцал в бессонные ночи под Аббасабадом, во время переговоров, что идешь, идешь за линией, натыкаешься на препону, и путаница. Как сильно действовала на него хорошая и дурная погода: на солнце он был мальчиком, в тени стариком.

Страшно подумать: рассеянность и холод коснулись даже проекта; он не был больше уверен в нем, даже напротив, проект, без сомнения, поскользнется... Прохожий франт поскользнулся, долго брыкался и потом оглядывался, не смеются ли.

Он и выезжал теперь с этой жадной, с этим тайным намерением: выловить где-то на улицах решение.

Он растерял свои годы по столбовым дорогам, изъездил их — и вот теперь ловил свою молодость по переулкам.

Так обессиливала его Москва.

В последний день он решил объехать знакомых. Решения он на улицах не находил никакого. Просто был март: то солнце, то тень, много прохожих русских мужиков, толкущихся на одном месте. У них были одинаковые лица — все те же, что шли вперед, возвращались назад. Гнались друг за другом русские мальчишки со здоровым, беспричинным ревом.

И одна за другой плелись кареты, дрожки. Может быть, каждая отдельно и шла быстро, даже мчалась, но все вместе они плелись. Лошадь задрала голову из цепи.

У него промелькнула безобразная фраза: «Лошади здесь сродни черным мулам» — фраза для азиатского Олеария.

Никто на него не обращал внимания.

С огорчением он заметил, что это именно уязвляло его. Он отлично знал, что главная встреча предстоит в Петербурге, да и в Москве его встретили торжественно. Все же ему было неприятно, что, проскакав месяц, везя в своих бумагах достославный, пресловутый Туркменчайский мир, в этот день он был оставлен в Москве на самого себя.

Это было ребячеством.

Щеголи в крылатках, в эриванках, воздушные, как бабочки, казались существами из особого мира. Все нынче на Москве было заражено легкостью, бойкостью. Очень все молодеваты стали. И ненадежны. Казалось, что дрожки с пролетным франтом сейчас полетят по воздуху, оставив внизу салопницу и мужика, несущего на голове боченок сельдей и, как тяжким маятником, качающего рукой.

Но франта теснили лошадиные морды, и из толпы упорно выплывал все тот же мужик, с механической грацией качавший туловищем и рукою.

18 Он нес на голове бочонок и поэтому балансировал, как балерина.

Даже у московских мужиков за два года, что он не был в Москве, исчезла медвежеватость, даже салопницы были охвачены движением — те же самые шли вперед и возвращались назад.

Так ему казалось; он был близорук.

Навстречу медленно, как во сне, равнодушно, как на театре, проплыл мужик, в санях не по времени. Ехал он по Садовой, как по деревне.

Он плыл с открытым ртом, не думая, не чувствуя, с неопределенной сосредоточенностью глядя вперед.

А рядом в дрожках ехал Макниль.

Он испугался, как это просто он рядом с мужиком отметил доктора Макниля.

Все совершается непоследовательно, но просто: по улице едет мужик, и почти рядом с ним англичанин, главный доктор тебризской миссии, Макниль.

Он жадно посмотрел в ту сторону, но Макниля не было, а был толстый полковник с собачьими баками.

Однако как он сюда попал? Если Макниль поехал в Россию, он должен бы об этом знать. Впрочем, доктор, может быть, действовал прямо через Паскевича. Однако Паскевич должен бы и в этом случае его предупредить.

Хотя что же в этом он находит особого?

И, может быть, это вовсе не Макниль.

Он пожал плечами с неудовольствием. Лицо англичанина так ему примелькалось в Тебризе, что он родную мать вскоре за него примет. Он снял очки и сердито протер их кружевным платком. Глаза без очков смотрели в разные стороны.

Кучер остановил карету на Пречистенке, у Пожарного депо.

3

Уже самый дом несколько поражал своей наружностью, он вдвигался в сад. Корпус был приземист, окна темноваты, парадная дверь тяжела и низка. Здесь жил теперь отставной Ермолов.

Дверь глядела исподлобья, подавалась туго и готова была каждого гостя вытолкнуть обратно, да еще и прихлопнуть.

Особенно его.

Тот любезный, искательный Ермолов, который при Александре владел Кавказом, замышлял войны, писал нотации императору, грубиянствовал с Нессельродом, более не существовал, не должен был, по крайней мере. Каков же был теперешний, в этом доме?

Отношения с Ермоловым за два последние года были мучительны. Вернее, их не было. Они избегали друг друга.

Когда Николай взял приступом дворец, он почувствовал себя сиротливо, выскочкой — рагвену. Тогда стали рыться в разговорах и нумеровать шепоты. Оказалось, между прочим, что на Кавказе сидело косматое чудище — проконсул Кавказа, хрипело, читало нотации и т.д. Показалось, что он хочет отложиться, отпасть от империи, учредить Восточное государство. Ждали, что он после декабря пойдет на Петербург. Его окружали подозрительные люди. Он вел свою линию на Востоке, следовало его убрать.

Вскоре началась война с Персией. Старик попробовал буркнуть на Петербург, вмешивающийся в его военные дела. Но его время прошло, как и его дела.

Империи более не требовались тучность полководцев и быстрота поэтов.

К нему приставили дядькой Паскевича.

Паскевич умел подчиняться и любил подчиняющихся.

Он терпеливо доносил на Ермолова и объяснял Николаю, что лучше всего назначить главнокомандующим его и отрешить Ермолова.

Персидские дела пошли и того хуже. У персов был полководец горячий — Аббас-Мирза. Русские военачальники грызлись.

Вскоре на них обоих прислали еще старшего. Дибич был уже совсем крошкой, рыжая, пылкая, нечистоплотная фигурка.

Ермолов смотрел исподлобья, Паскевич ел глазами, Дибич косил в землю.

Он боялся, что над ним смеются.